

Вальтер
Беньямин

Людвиг
Витгенштейн

Эрнст
Кассирер

ВОЛЬФРАМ
АЙЛЕНБЕРГЕР
ВРЕМЯ МАГОВ
ВЕЛИКОЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
ФИЛОСОФИИ
Мартин
Хайдеггер

1919–1929

Вольфрам Айленбергер

**Время магов. Великое десятилетие
философии. 1919-1929**

«Ад Маргинем Пресс»

2017

УДК 14(430+436)(092)"192"
ББК 87.3(4Гем)6-8+87.3(4Авс)6-8

Айленбергер В.

Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929 /
В. Айленбергер — «Ад Маргинем Пресс», 2017

ISBN 978-5-91103-588-4

Немецкий исследователь Вольфрам Айленбергер (род. 1972), основатель и главный редактор журнала Philosophie Magazin, бросает взгляд на одну из величайших эпох немецко-австрийской мысли – двадцатые годы прошлого века, подробно, словно под микроскопом, рассматривая не только философское творчество, но и жизнь четырех «магов»: Эрнста Кассирера, Мартина Хайдеггера, Вальтера Беньямина и Людвиг Витгенштейна, чьи судьбы причудливо переплелись с перипетиями бурного послевоенного десятилетия. Впечатляющая интеллектуально-историческая панорама, вышедшая из-под пера автора, не похожа ни на хрестоматию по истории философии, ни на академическое исследование, ни на беллетризованную биографию, но соединяет в себе лучшие черты всех этих жанров, приглашая читателя совершить экскурс в лабораторию мысли, ставшую местом рождения целого ряда направлений в современной философии. В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 14(430+436)(092)"192"
ББК 87.3(4Гем)6-8+87.3(4Авс)6-8

ISBN 978-5-91103-588-4

© Айленбергер В., 2017
© Ад Маргинем Пресс, 2017

Содержание

I. Пролог. Маги	6
Прибытие Бога	6
Покоритель высот	11
Сохраняя спокойствие	12
Давосский миф	14
Вопросы о человеке	15
Без фундамента	16
Два видения	17
На перепутье	20
Где Беньямин?	21
Лучше провал	25
Нужна ли моей жизни цель?	27
Республика в одном лице	30
II. Прыжки. 1919	32
Что делать?	33
Его прибежище	34
Критические дни	35
Романтические тезисы	37
Новое самосознание	38
Бегство	39
Превращение	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Вольфрам Айленбергер

Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929

© 2018 by J. G. Cotta'sche BuchhandlungNachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2021

© Фонд развития и поддержки искусств «айрис» / IRIS Foundation, 2021

* * *

Посвящается Эве

Лучшее, что дает нам история, – это вызываемый ею энтузиазм.

Иоганн Вольфганг Гёте

Максимы и рефлексии

(пер. С. Ошерова)

I. Пролог. Маги

Прибытие Бога

«Не переживайте, я знаю, вы никогда этого не поймете»¹. Этой фразой 18 июня 1929 года в Кембридже, Англия, закончился самый странный экзамен в истории философии. Перед комиссией, состоявшей из Бертрانا Рассела и Джорджа Эдварда Мура, в качестве соискателя докторской степени предстал сорокалетний австрийский экс-миллиардер, последние десять лет работавший по преимуществу учителем начальной школы². Его имя – Людвиг Витгенштейн. В Кембридже Витгенштейн чужим не был. Напротив, с 1911 года и почти до самого начала Первой мировой войны он учился там у Рассела и по причине своей очевидной гениальности, а равно и сумасбродства, быстро стал среди тогдашних студентов культовой фигурой. «Итак, бог прибыл. Я встретил его на вокзале в 5.15»³, – отмечает Джон Мейнард Кейнс в письме от 18 января 1929 года. Кейнс, в ту пору, пожалуй, крупнейший в мире экономист, случайно встретил Витгенштейна в день его возвращения в Англию. А тот факт, что тем же поездом из Лондона в Кембридж прибыл и старый друг Витгенштейна Джордж Эдвард Мур, много говорит о чрезвычайно тесной и, стало быть, чреватой толками обстановке тогдашних кружков.

Впрочем, обстановку в купе не стоит представлять себе очень уж непринужденной. Ведь и *small talk*⁴, и сердечные объятия Витгенштейну были, по меньшей мере, не свойственны. Венский гений скорее имел склонность к внезапным приступам ярости, а вдобавок отличался крайней злопамятностью. Одно-единственное неловкое слово или шутовское политическое замечание могли привести к многолетней неприязни и даже к разрыву отношений – что неоднократно испытали на себе и Кейнс, и Мур. Тем не менее: бог вернулся! И радость была, соответственно, велика.

¹ Монк Р. Людвиг Витгенштейн. Долг гения / пер. А. Васильевой; науч. ред. и примеч. В. Анашвили. М.: Издательский дом «Дело», РАНХиГС, 2019. С. 265. – *Здесь и ниже, если не указано иное, под астерисками приводятся примечания переводчика.*

² Описание устного докторского экзамена и его обстоятельств по: Monk, R. (1991). S. 255ff. См. Монк Р. Людвиг Витгенштейн. Долг гения / пер. А. Васильевой; науч. ред. и примеч. В. Анашвили. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. С. 265–281.

³ Монк Р. Людвиг Витгенштейн. Долг гения / пер. А. Васильевой; науч. ред. и примеч. В. Анашвили. М.: Издательский дом «Дело», РАНХиГС, 2019. С. 265.

⁴ Легкая светская беседа (англ.).



Людвиг Витгенштейн в день получения стипендии на докторантуру в Тринити-колледже Кембриджского университета. 1929

Потому-то, чтобы приветствовать блудного сына⁵, уже на второй день по приезде Витгенштейна в доме у Кейнса собирается так называемый кружок «Апостолов» – чрезвычайно элитарный неофициальный студенческий клуб, пользовавшийся весьма сомнительной славой из-за гомосексуальных интрижек своих участников. На торжественном ужине Витгенштейна

⁵ Яркое описание атмосферы у «апостолов» дает Hale, K. (1998).

возводят в ранг почетного члена («ангела»). Со времени последней встречи для большинства собравшихся минуло пятнадцать с лишним лет. С тех пор много чего произошло. Однако для своих апостолов Витгенштейн внешне почти не изменился. Дело не только в том, что и этим вечером он, по обыкновению, облачен в рубашку на пуговицах с отложным воротником, в серые фланелевые брюки и тяжелые кожаные башмаки деревенского фасона. Годы и физически как будто бы прошли для него без следа. На первый взгляд, он больше похож на одного из тех тоже приглашенных талантливых студентов, что до сих пор были знакомы со странным австрийцем лишь по рассказам профессоров. И, конечно же, именно он был автором «Логико-философского трактата», легендарной работы, которая во многом, если не сказать целиком, определяла в Кембридже философские дискуссии минувших лет. Хотя никто из присутствовавших не стал бы утверждать, что хотя бы приблизительно понял эту книгу, сей факт лишь еще сильнее разжигал увлеченность «Трактатом».

Витгенштейн закончил книгу в 1918 году в итальянском плену, твердо убежденный, что *«отыскал, в существенных отношениях, окончательное решение»* всех философских проблем, и, соответственно, вознамерился отныне повернуться к этой дисциплине спиной. Всего через несколько месяцев он, наследник одной из богатейших на континенте семей промышленников, отписал всё свое состояние сестрам и брату. В письме Расселу он тогда сообщил, что – мучимый тяжелыми депрессиями и периодическими мыслями о самоубийстве – хочет отныне зарабатывать на жизнь «честным трудом». А конкретно – работать в провинции учителем начальной школы.

И вот этот Витгенштейн вернулся в Кембридж. Вернулся, как говорили, чтобы заниматься философией. Однако гений, к тому времени сорокалетний, не имел ученого звания и к тому же оказался совершенно без средств. То немногое, что он сумел скопить за минувшие годы, было израсходовано всего за несколько английских недель. Осторожные вопросы, не готовы ли богатые родичи оказать ему финансовую помощь, Витгенштейн встретил резким протестом: «Будьте добры принять мое письменное заявление, что у меня не только есть целый ряд состоятельных родственников, но и что они дали бы мне денег, если бы я попросил. Однако я не попрошу у них ни пенни»⁶, – сообщает он Муру накануне своего устного докторского экзамена.

Что же делать? Никто в Кембридже не сомневается в исключительном таланте Витгенштейна. Все, в том числе самые влиятельные персоны университета, хотят удержать его здесь и помочь ему. Но без ученого звания даже в семейной атмосфере Кембриджа институционально невозможно предоставить научную стипендию, а тем более постоянную должность, человеку, некогда бросившему учебу.

В конце концов, придумали такой план: пусть Витгенштейн подаст «Логико-философский трактат» как докторскую диссертацию. В 1921–1922 годах Рассел лично содействовал публикации этой работы и, чтобы обеспечить ее издание, написал к ней предисловие, поскольку считал труд своего бывшего ученика куда более превосходящим его собственные, столь же эпохальные работы по философии логики, математики и языка.

Поэтому не приходится удивляться, что, входя в экзаменационный зал, Рассел ворчал, что «ничего абсурднее в жизни своей не видел»⁷. Тем не менее: экзамен есть экзамен, и после нескольких минут дружеских расспросов Мур и Рассел все-таки перешли к некоторым критическим аспектам. Касались они одной из центральных загадок Витгенштейнова «Трактата», отнюдь не бедного на туманные афоризмы и мистические одностишия. Уже первая фраза произведения, строго упорядоченного по хитроумной десятичной системе, дает впечатляющий тому пример. Она гласит:

⁶ McGuinness, B., v. Wright, H. (Hrsg.) (1980) (ниже: Wittgenstein, Briefwechsel). S. 176.

⁷ Цит. по: Monk, R. (1991). S. 271. См.: Монк Р. Людвиг Витгенштейн. Долг гения. С. 281.

Мир есть всё то, что имеет место⁸.

Однако и записи вроде нижеследующих тоже были (и остаются по сей день) для последователей Витгенштейна загадкой:

6.432. Как обстоят дела в мире, совершенно безразлично для высшего. Бог не открывает себя миру.

6.44. Мистическое заключено не в том, как явлен мир, а в том, что он *есть*.

Несмотря на загадочность, главный импульс книги ясен. Витгенштейнов «Трактат» продолжает долгую традицию и стоит в одном ряду с такими трудами Нового времени, как «Этика, доказанная в геометрическом порядке» (1677) Баруха Спинозы, «Исследование о человеческом разумении» (1748) Дэвида Юма и «Критика чистого разума» (1781) Иммануила Канта. Все эти труды стремятся провести грань между теми предложениями нашего языка, что действительно наделены смыслом и тем самым способны быть истиной, и теми, что только лишь кажутся осмысленными и по этой причине вводят наше мышление и нашу культуру в заблуждение. Иными словами, речь в «Трактате» идет о терапевтическом участии в постановке проблемы осмысленного высказывания. Не случайно книга заканчивается тезисом:

7. То, о чем нельзя сказать, следует обойти молчанием.

И всего одной десятичной ступенью выше, под номером 6.54, Витгенштейн раскрывает свой терапевтический метод:

6.54. Мои суждения уточняются следующим образом: тот, кто понимает меня, в конце концов признает их бессмысленными, когда проберется сквозь них, по ним, над ними. (Он должен, так сказать, отбросить лестницу после того, как взобрался по ней.)

Он должен преодолеть эти суждения, чтобы правильно увидеть мир.

Как раз к этому пункту и цепляется Рассел в экзаменационной беседе. Как именно это должно происходить – как, нанизывая бессмысленные суждения, помочь человеку правильно, даже единственно правильно увидеть мир? Разве в предисловии к своей работе Витгенштейн не подчеркнул, что *«истинность размышлений, изложенных на этих страницах»*, представляется ему *«неоспоримой и полной»*. Как такое может быть в работе, которая, согласно сказанному в ней же, почти сплошь состоит из бессмысленных утверждений?

Этот вопрос был Витгенштейну не в новинку. В первую очередь – из уст Рассела. За годы оживленной переписки он стал почти ритуалом в их напряженной дружбе. Стало быть, *for old times sake*⁹ Рассел снова поставил свой вопрос.

К сожалению, мы не знаем, что именно ответил Витгенштейн в свою защиту. Но можем предположить, что отвечал он, по обыкновению слегка заикаясь, с горящими глазами и с весьма своеобразной интонацией, походившей не столько на иностранный акцент, сколько на речь человека, который ощущает в словах человеческой речи особое значение и музыкальность. А затем, после нескольких минут запинаящегося монолога, в постоянных поисках настоящего яркой формулировки (и в этом тоже своеобразие Витгенштейна), он в очередной раз придет к выводу, что сказал и разъяснил достаточно. Ведь просто невозможно растолковать всё каждому человеку. Ведь он так и написал в предисловии к «Трактату»:

⁸ Здесь и далее «Логико-философский трактат» цит. по: *Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / пер. Л. Добро-сельского. М.: АСТ, 2019.*

⁹ Здесь: по старой памяти (*англ.*).

По всей видимости, книгу эту поймет лишь тот, кто уже самостоятельно приходил к мыслям, в ней изложенным, – или по меньшей мере предавался размышлениям подобного рода.

Проблема заключалась лишь в одном (и Витгенштейн это знал): очень немногие люди (а возможно, вообще никто) когда-либо приходили к таким мыслям и формулировали их. Во всяком случае – не его некогда высокочтимый учитель Бертран Рассел, автор «Principia Mathematica», которого Витгенштейн находил всё же философски ограниченным. А тем более – не Дж. Э. Мур, известный как один из самых блестящих мыслителей и логиков своего времени, о котором Витгенштейн в доверительных беседах говорил, что «Мур – выдающийся пример того, сколь многого может достичь человек, не располагающий ни крупницей ума».

Как ему объяснить этим людям лестницу бессмысленных мыслей, по которой сперва нужно подняться, а затем отбросить ее, чтобы увидеть мир таким, каков он на самом деле? Разве мудрец из Платоновой притчи о пещере, однажды выйдя на свет, не потерпел неудачу, попытавшись объяснить увиденное другим ее пленникам?

На сегодня довольно. Довольно объяснений. Витгенштейн встает, обходит вокруг стола, благосклонно хлопает Мура и Рассела по плечам и произносит фразу, которая по сей день снится каждому философу-докторанту в ночь накануне экзамена: «Не расстраивайтесь, я знаю, вам никогда этого не понять».

На том спектакль и закончился. Муру досталось написать экзаменационное заключение: «По моей личной оценке, докторская диссертация г-на Витгенштейна – работа гения; и во всяком случае она удовлетворяет требованиям, необходимым для получения степени доктора философии в Кембридже»¹⁰.

В скором времени была предоставлена и стипендия. Витгенштейн вернулся в философию.

¹⁰ Цит. по: Monk, R. (1991). S. 271. См.: *Монк Р.* Людвиг Витгенштейн. Долг гения. С. 272.

Покоритель высот

В подлинном смысле у цели мог чувствовать себя и Мартин Хайдеггер, когда 17 марта того же года вошел в парадный зал давосского гранд-отеля «Бельведер». Ибо, вне всякого сомнения, вот она, та великая философская сцена, завоевателем которой тридцатидевятилетний шварцвальдский мыслитель видел себя с самой ранней юности. Потому-то ничто в его выходе нельзя полагать случайным. Ни по-спортивному облегающий костюм, резко выделяющийся на фоне классических фраков приглашенных сановников. Ни строго зачесанные назад волосы. Ни по-крестьянски загорелое от горного солнца лицо. Ни весьма запоздалое появление в зале. Ни тем паче тот факт, что он даже не подумал занять предназначенное ему место в передних рядах, а без малейшего промедления устроился в середине зала, среди многочисленных студентов и молодых ученых. О том, чтобы не нарушать табу и подчиниться господствующим условностям, не было и речи. Ведь для такого, как Хайдеггер, в ложном не может быть никакой правильной философии. А ложным в этом ученом собрании, организованном в изысканном швейцарском отеле, ему наверняка казалось почти всё.

В прошлом году вступительную лекцию на Высших давосских образовательных курсах читал Альберт Эйнштейн. Ныне, в 1929-м, в качестве одного из главных докладчиков приглашен он, Мартин Хайдеггер. В ближайшие дни он прочитает три лекции, а в заключение проведет вместе со вторым философским тяжеловесом, Эрнстом Кассирером, открытую дискуссию. И как ни претила ему чопорная обстановка, связанные с нею значимость и признание всколыхнули в душе Хайдеггера самые глубинные надежды¹¹.

Всего двумя годами ранее, весной 1927-го, он опубликовал «Бытие и время» – работу, которая уже спустя несколько месяцев была признана новой вехой философии. Этим успехом сын церковного служки из баденского Месскирха лишь подтвердил, что не зря уже давно слышет, по выражению тогдашней его ученицы (и возлюбленной) Ханны Арендт, «тайным королем» немецкой философии. Свою работу Хайдеггер писал в 1926 году в неимоверном цейтноте – и на самом деле завершил ее лишь наполовину. Этим эпохальным трудом он создал себе формальные предпосылки для возвращения из нелюбимого им Марбурга во фрайбургскую альма-матер. В 1928 году Мартин Хайдеггер занимает там престижную кафедру своего давнего учителя и покровителя, феноменолога Эдмунда Гуссерля.

Если Джон Мейнард Кейнс, рассказывая о возвращении Витгенштейна в Кембридж, упомянул трансцендентного «бога», то выбор Ханной Арендт королевского титула указывает на волю к власти, а следовательно и к социальному доминированию, которую в случае Хайдеггера любой наблюдатель отчетливо чувствовал уже через считанные секунды. Где бы ни появлялся и ни выступал Хайдеггер, он никогда не бывал одним из многих. В парадном давосском зале он подкрепляет это притязание символическим отказом занять предназначенное ему место среди других профессоров философии. Аудитория шушукается, перешептывается, даже оборачивается: прибыл Хайдеггер. Стало быть, можно начинать.

¹¹ Подробные описания диспута и его контекста см.: Kaegi, D., Rudolph, K. (Hrsg.) (2002).

Сохраняя спокойствие

Крайне маловероятно, чтобы Эрнст Кассирер присоединился к этому всеобщему шушуканью и перешептыванию в зале. Только не подавать виду: соблюдать форму и, прежде всего, сохранять спокойствие. Таково его жизненное кредо. И суть его философии. Да и вообще: чего ему опасаться? В конце концов, пятидесятичетырехлетнему профессору Гамбургского университета превосходно знакома церемонная обстановка большого научного форума. Уже ровно десять лет он возглавляет кафедру. В зимнем семестре 1929–1930 годов он даже займет в своем университете пост ректора, будучи всего лишь четвертым евреем в истории немецкого высшего образования, достигшим подобных высот карьеры. Поэтому этикет фешенебельных швейцарских отелей Кассиреру, отпрыску состоятельных коммерсантов из Бреслау¹², привычен, вероятно, с раннего детства. Как принято в его кругу, он вместе со своей женой Тони ежегодно выезжает летом на швейцарские горные курорты. Но самое главное, в 1929 году Кассирер тоже находится в зените славы, на пике творческой формы. За минувшие десять лет он закончил трехтомную «Философию символических форм». Энциклопедическая широта и систематическая оригинальность работы, третий и последний том которой вышел в свет за несколько недель до давосской конференции, утвердили Кассирера как бесспорного главу неокантианства – ведущего академического течения немецкой философии.

Не в пример Хайдеггеру, Кассирер не взлетел кометой к славе великого философа. Его слава росла постепенно, в ходе десятилетий историко-философского и издательского труда. Он был ответственным редактором полных собраний сочинений Гёте и Канта, кроме того, за годы работы приват-доцентом в Берлине опубликовал объемистый труд по истории философии Нового времени. Чуждый харизматической и языковой дерзости, он отличается в первую очередь впечатляющей начитанностью и едва ли не сверхчеловеческой памятью, которая при необходимости позволяет ему страницами цитировать наизусть великих философских и литературных классиков. Не менее известен и уравновешенный характер Кассирера, постоянно стремящегося к спокойствию и умеренности. В Давосе он воплощает – и прекрасно об этом знает – именно тот тип философствования и ученого истеблишмента, который нацелился взбудоражить Хайдеггер со своим штурмовым отрядом учеников и докторантов, приехавшим, благодаря щедрым стипендиям, почти в полном составе. На фотографии торжественного открытия Кассирер сидит во втором ряду слева, рядом со своей женой Тони. Пышная шевелюра являет взору благородные седины, взгляд сосредоточенно устремлен на ораторскую трибуну. Стул слева от него свободен. Прикрепленная к спинке записка гласит «reservé»¹³. Место Хайдеггера.

¹² Бреслау – ныне город Вроцлав (Польша).

¹³ Зарезервировано (*франц.*).



Эрнст и Тони Кассирер. 1929

Давосский миф

Как свидетельствуют позднейшие записи, нарочитое нарушение Хайдеггером давосского этикета не прошло впустую. Тони Кассирер всё это настолько выбило из колеи, что в мемуарах «Моя жизнь с Эрнстом Кассирером»¹⁴, написанных в 1948 году в нью-йоркской эмиграции, она на целых два года ошибается в дате. Там она изображает «маленького, совершенно невзрачного человека, черноволосого, с пронзительно темными глазами». Ей – дочери коммерсанта из благосостоянного венского общества – он «тотчас напомнил ремесленника, скажем, из южной Австрии или из Баварии», а позднее, на банкете, это впечатление «подкрепил его диалект». Уже тогда она отчетливо угадывала, с кем будет иметь дело ее супруг: «Склонность Хайдеггера к антисемитизму была нам известна», – заключает она воспоминания о Давосе.

Давосская полемика между Эрнстом Кассирером и Мартином Хайдеггером считается ныне весьма знаменательным событием в истории философии. По словам американского философа Майкла Фридмана, она даже являет собой важнейшее «перепутье для философии XX века»¹⁵. Уже тогда сознание, что они стали свидетелями эпохального переворота, воодушевляло всех участников форума. Так, студент Хайдеггера Отто Ф. Больнов (после 1933 года он сделался убежденным нацистским философом) с восторгом описывает в своем дневнике

<...> окрыляющее ощущение, <...> что являешься очевидцем исторического момента <...> точь-в-точь как говорил Гёте в «Кампании во Франции»: «Здесь и сейчас начинается новая эпоха мировой истории», – в данном случае истории философии, – и можешь сказать, что присутствовал при этом¹⁶.

В самом деле. Если бы Давос не состоялся в реальности, будущим историкам идей пришлось бы задним числом его придумать. Вплоть до мельчайших деталей, в этом эпохальном событии отражаются главные контрасты всего десятилетия. Отпрыск берлинских евреев-промышленников встречается с сыном католического церковнослужителя из баденской провинции, ганзейское спокойствие – с неприкрашенно-прямой деревенскостью. Кассирер – отель. Хайдеггер – хижина. Под сияющим горным солнцем они встречаются в таком месте, где воплощаемые ими миры нереальным образом налагаются один на другой.

Похожая на грезу, уединенная атмосфера курортного давосского отеля вдохновила и Томаса Манна к написанию опубликованного в 1924 году романа «Волшебная гора». Поэтому давосская полемика 1929 года, вероятно, казалась ее участникам конкретным воплощением вымышленного образца. С прямо-таки пугающей точностью Кассирер и Хайдеггер совпали с идеологическими шаблонами Лодовико Сеттембрини и Лео Нафты, которых Томас Манн сделал символами целой эпохи.

¹⁴ Cassirer, T. (2003). S. 186ff.

¹⁵ Friedman, M. (2004). См.: Фридман М. Философия на перепутье: Карнап, Кассирер и Хайдеггер / пер. В. Целищева. М.: Канон-Плюс, 2021.

¹⁶ Neske, G. (Hrsg.) (1977). S. 28.

Вопросы о человеке

Эпохально звучала и выбранная организаторами тема давосского форума: «Что есть человек?». Этот вопрос уже был лейтмотивом философии Иммануила Канта. Причем совокупная критическая философия Канта исходит из столь же простого, сколь и неопровержимого наблюдения: человек есть существо, задающее себе вопросы, на которые оно, в конечном счете, ответить не может. В частности они касаются существования Бога, загадки человеческой свободы и бессмертия души. То есть, согласно предварительному кантовскому определению, человек есть *существо метафизическое*.

Но что отсюда следует? Для Канта эти метафизические загадки, как раз по причине того, что на них нет окончательного ответа, открывают человеку горизонт возможного совершенствования. Они руководят нами в стремлении накопить как можно больше опыта (познание), действовать как можно более свободно и самостоятельно (этика), проявить себя как можно более достойными все-таки возможного бессмертия (религия). В этой связи Кант говорит о *регулятивной*, или же руководящей, функции метафизического вопрошания.

Эти установки кантовского проекта вплоть до двадцатых годов XX века оставались определяющими как для немецкой философии, так и в целом для философии модерна¹⁷. Философствовать означало, не в последнюю очередь – для Кассирера и Хайдеггера, размышлять в русле этих вопросов. То же касалось и уже упомянутых – скорее логически ориентированных – попыток Людвиг Витгенштейна провести четкую грань между тем, о чем разумный человек может говорить, и тем, о чем должно молчать. Правда, терапевтический эксперимент «Трактата» решительно выходил за очерченные Кантом границы. Казалось, что он полагал возможным полностью излечить философскими средствами даже считающееся сугубо человеческим стремление задавать метафизические вопросы, а стало быть – философствовать. Так, в «Трактате» говорится:

6.5. Когда ответ нельзя облечь в слова, вопрос тоже нельзя задать словами.

Тайны не существует.

Если вопрос может быть сформулирован, на него возможен ответ.

6.51. <...> Сомнение существует лишь там, где возможны вопросы, вопросы – лишь там, где возможны ответы, а ответы – лишь там, где нечто *может быть сказано*.

6.53. Истинный метод философствования должен быть следующим: не изрекать ничего, кроме того, что может быть сказано, то есть суждений естественных наук, то есть того, что не имеет отношения к философии, – а затем, когда кто-либо еще захочет изречь нечто метафизическое, показать ему, что он не сумел наделить смыслом отдельные знаки своего суждения <...>.

Связанная с работой Витгенштейна – типичная для того времени – надежда, что, руководствуясь духом логики и естествознания, можно будет наконец-то избавиться от метафизических вопросов, вдохновляла и многих других участников давосского форума. Например, тридцативосьмилетнего приват-доцента Рудольфа Карнапа, автора трудов с такими программными названиями, как «Логическое построение мира» или «Мнимые проблемы в философии» (оба – 1928). После эмиграции в 1936 году в США Карнап стал одним из ведущих представителей так называемой «аналитической философии», возникшей не без влияния Витгенштейна.

¹⁷ Модерн, современность, Новое/Новейшее время и соответствующие производные, определяющие известную историческую эпоху и ее характеристики, употребляются здесь как синонимы. – *Примеч. ред.*

Без фундамента

Вместе с тем, к какому бы направлению или школе ни причисляли себя участники давосского форума – к идеализму, гуманизму, философии жизни, феноменологии или логицизму, – в одном существенном пункте среди присутствовавших философов царило согласие. Мирозренческий и, в первую очередь, научный фундамент, на котором Кант некогда выстроил свою впечатляющую философскую систему, износился и остро нуждался как минимум в реформировании. «Критика чистого разума» Канта отчетливо базировалась, не в последнюю очередь – в своей трактовке наглядных форм пространства и времени, на физике XVIII века. Однако теория относительности Эйнштейна (1905) произвела переворот в ньютоновской картине мира. Пространство и время не могут рассматриваться независимо друг от друга, а кроме того, они не априорны, то есть, не даны до опыта. Еще прежде теория эволюции Дарвина во многом лишила убедительности идею отрешенной от временного становления, извечно заданной человеческой природы. К тому же, осуществленное Дарвином открытие значимости случая для развития всех видов на планете – распространенное, благодаря определяющему влиянию Ницше, на всю сферу культуры – в корне ослабило надежды на целенаправленный, а тем паче руководимый разумом, ход истории. Да и полная прозрачность человеческого сознания для самого себя – как отправная точка кантовского трансцендентального метода исследования, – начиная уже как минимум с Зигмунда Фрейда, не казалась естественной. Однако в первую очередь кошмары анонимного, осуществляемого промышленными методами, убийства миллионов в Первой мировой войне полностью лишили всякой достоверности просвещенческую риторику цивилизационного прогресса человечества на пути культуры, науки и техники. В свете политических и экономических кризисов этого десятилетия вопрос о человеке стоял как никогда остро. Только вот былая основа ответа на него была окончательно поставлена под сомнение.

Скоропостижно скончавшийся в 1928 году философ Макс Шелер – автор работы «Положение человека в Космосе» (1928) – так сформулировал это ощущение кризиса в одной из своих последних лекций:

За всю историю, охватывающую около десяти тысячелетий, наша эпоха – первая, когда человек стал полностью и без остатка проблематичным для самого себя; когда он больше не знает, что он такое, и в то же время знает, что он этого не знает¹⁸.

Вот горизонт вопроса, с которым Кассирер и Хайдеггер сталкиваются на давосском форуме. В минувшее десятилетие этот горизонт вдохновил обоих мыслителей на создание их главных трудов. Правда, вместо того чтобы попытаться дать прямой и субстанциальный ответ на вопрос Канта «Что такое человек?», Кассирер и Хайдеггер сосредотачиваются на безмолвном вопросе, скрытом за ним, – именно в этом и состоит оригинальность их философии. Человек есть существо, поневоле задающее себе вопросы, на которые не может ответить. Прекрасно. Но какие, собственно, условия должны быть заданы, чтобы некое существо вообще было в состоянии ставить себе эти вопросы? Каковы условия возможности самого этого вопрошания? На чем основана способность задавать стоящие за ним вопросы? На чем основан этот импульс? Ответы высказаны уже в заглавиях их главных трудов: у Кассирера это «Философия символических форм». У Хайдеггера – «Бытие и время».

¹⁸ Цит. по: Safranski, R. (2001). S. 231. См.: Сафрански Р. Хайдеггер: германский мастер и его время / пер. Т. Баскаковой при участии В. Брун-Цехового. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 279.

Два видения

По Кассиреру, человек – это, прежде всего, существо, применяющее и порождающее знаки: *animal symbolicum*. Иными словами – существо, которое, применяя знаки, обеспечивает себе и своему миру смысл, опору и ориентацию. Причем важнейшая знаковая система человека – его природный родной язык. Однако имеются другие многочисленные знаковые системы – Кассирер называет их *символическими формами*, – например, знаковая система мифа, искусства, математики или музыки. Эти символизации, будь то знаки языковые, образные, акустические или жестовые, как правило, не понимаются сами собой. Более того, они в свою очередь нуждаются в толковании со стороны других людей. Непрерывный процесс, в котором знаки привносятся в мир, трактуются другими людьми и изменяются, есть процесс человеческой культуры. Лишь эта способность применять знаки позволяет человеку задавать метафизические вопросы, как и вопросы о себе и о мире как таковом. У Кассирера задуманная Кантом критика чистого разума становится исследованием формальных символических систем, помогающих нам наделять смыслом себя и свой мир. Таким образом, она становится настоящей *критикой культуры* в ее совокупной, неизбежно противоречивой, широте и многообразии.

Хайдеггер тоже подчеркивает важную посредническую роль языка в человеческом существовании. Но подлинную основу метафизической сущности человека он видит не во всеобщей системе знаков, а в предельно индивидуальном чувстве, а именно в чувстве ужаса. Точнее, ужаса, который охватывает индивида, когда он полностью осознает конечность своего существования. Опосредованное ужасом знание о собственной конечности, определяющее человека как *«брошенное в мир присутствие» (Dasein)*¹⁹, ставит перед ним задачу использовать и постичь собственные бытийные возможности. Цель данного постижения Хайдеггер называет *подлинностью*. Далее, сам способ бытия человека отличается неустранимая связь со временем. Во-первых – через всегда уникальную историческую ситуацию, в которую, не спрашивая об этом, всякий раз попадает его существование. Во-вторых – через осознание этим существованием своей конечности.

¹⁹ В качестве базового варианта перевода хайдеггерского термина *Dasein* использован вариант «присутствие», предложенный в свое время В. В. Библиным. Также, в зависимости от контекста, употребляются как синонимы «здесь-бытие», «вот-бытие» или «*Dasein*» (без перевода). – *Примеч. ред.*



Эрнст Кассирер и Мартин Хайдеггер. 1929



Группа участников Давосской конференции. 1929. В центре – беседующие Мартин Хайдеггер и Эрнст Кассирер

Поэтому, в интерпретации Хайдеггера, перед выявленной Кассирером сферой культуры, сферой употребления знаков стоит, прежде всего, задача отвлекать человека от его ужаса, от его конечности, а тем самым и от задачи подлинности. Настоящая же роль философии состоит как раз в том, чтобы держать человека открытым для истинных бездн ужаса, освобождая его, таким образом, в подлинном смысле.

На перепутье

Можно догадаться, почему давний вопрос Канта о человеке, в зависимости от того, следуешь ли кассиреровской или хайдеггеровской попытке ответа, ведет к двум совершенно противоположным идеалам культурного, а также политического развития: признание равноправного человеческого статуса для всех существ, использующих знаки, идет вразрез с элитарным мужеством подлинности; надежда на цивилизующее укрощение глубинных страхов – с требованием как можно радикальнее себя этим страхам подвергнуть; признание плюрализма культурных форм и многообразия – с предчувствием неизбежной потери самого себя среди слишком многих; модернизирующая непрерывность – с волей к полному слому и новому началу.

Вот почему Кассирер и Хайдеггер, встретившиеся в десять часов утра 26 марта 1929 года, могут по праву притязать на то, чтобы своими философскими концепциями воплотить целые картины мира. Ведь на карту в Давосе было поставлено решение в пользу одного из двух фундаментально различных видений хода развития современного человечества. Видений, чьи разнонаправленные силы притяжения по сей день изнутри формируют и определяют нашу культуру.

Кстати, присутствующие в Давосе студенты и молодые ученые ко времени диспута – спустя десять дней после начала форума – давно уже вынесли свой приговор. Как и следовало ожидать в классическом конфликте поколений, они полностью на стороне молодого Хайдеггера. Не в последнюю очередь, вероятно, еще и потому, что Кассирер – словно желая на собственном примере доказать безнадежную устарелость своего буржуазного образовательного идеала – значительную часть времени пролежал с температурой в гостиничном номере. Хайдеггер же каждую свободную минуту вставал на лыжи, чтобы вместе с отчаянными молодыми студентами мчаться вниз по опасным «черным» спускам Граубюнденских Альп.

Где Беньямин?

В весенние дни магического 1929 года, когда профессора Эрнст Кассирер и Мартин Хайдеггер встречаются на давосском форуме, чтобы набросать будущее человеческого бытия, журналиста и писателя Вальтера Беньямина терзают в большом городе Берлине совсем другие заботы. Любимая женщина, латышская театральная режиссерка Ася Лацис, только что выставила Беньямина из недавно свитого любовного гнездышка на Дюссельдорферштрассе, а значит, ему придется – снова – возвращаться на расположенную в нескольких километрах Дельбрюкштрассе, в родительский дом, где его ждут, помимо умирающей матери, жена Дора и одиннадцатилетний сын Штефан. Ничего нового в данном гротеске нет. Эта комбинация – опьяненное любовью новое начало, связанные с ним опрометчивые расходы, а также быстрый конец романа – очень давно и очень хорошо знакома всем участникам. Правда, на сей раз ситуация особенно обостряется, поскольку Беньямин сообщает Доре о категорическом решении развестись – причем для того, чтобы иметь возможность жениться как раз на той самой латышской возлюбленной, которая недавно дала ему отставку.



Весьма заманчиво вообразить и Беньямина участником давосской конференции. Например, корреспондентом «Франкфуртер цайтунг» или «Литерарише вельт», куда он регулярно пишет рецензии. Воочию видишь, как он – хронический неудачник, – стоя в дальнем углу бального зала, достает свой черный блокнот («*Веди записи строго, как власти ведут перечень приезжих*»). Вот он поправляет никелевые очки с толстыми линзами и бисерным почерком записывает первые наблюдения, ну, скажем, по поводу узора на обоях или обивки мебели. Затем, вслед за короткой критикой покроя хайдеггеровского костюма, он сетует на духовное оскудение эпохи, в которой философы прославляют *simple life*²⁰ и, как, в частности, Хайдеггер, блюдут «*рустикальный стиль речи*», отмеченный «*пристрастием к вымученным архаизмам*», «*полагая, будто тем гарантируют себе возврат к истокам жизни языка*». Возможно, затем он обернется к креслам, где позднее удобно расположится «*человек в футляре*» Кассирер, и опишет сей буржуазный предмет мебели как воплощение пыльной затхлости той философии, чье бюргерское простодушие по-прежнему верит, что многообразие современного мира можно втиснуть в корсет единой системы. Уже чисто внешне Беньямин выглядит совершенным гибридом Хайдеггера и Кассирера. Он тоже склонен к внезапным повышением температуры, до смешного неспортивен, однако, несмотря на маленький рост, сразу же производит впечатление своим обликом, притягательной силой и светскостью.

В самом деле, обсуждаемые в Давосе темы находятся и в центре его творчества. Трансформация кантовской философии на фоне новой технической эпохи, метафизическая сущность повседневного языка, кризис академической философии, внутренняя разорванность современного сознания и ощущения времени, растущая товаризация городской жизни, поиски искупления во времена тотального общественного упадка... Кто, как не Беньямин, писал на эти темы в предшествующие годы? Почему никто не направил его в Давос? Или спросим еще более резко: почему никто не пригласил его выступить?

Ответ гласит: с академическо-философской точки зрения Беньямина в 1929 году просто не существует. Конечно, он неоднократно искал во многих университетах (в Берне, Гейдельберге, Франкфурте, Кёльне, Гёттингене, Гамбурге, Иерусалиме) возможности начать преподавательскую карьеру. Однако всякий раз его попытки терпели плачевную неудачу: то из-за неблагоприятных обстоятельств, то из-за антисемитских предрассудков, но главным образом – из-за его собственной нерешительности.

В 1919-м, когда он, с похвальной оценкой *summa cum laude*, защищает в Бернском университете диссертацию на тему «Понятие художественной критики в немецком романтизме» ему еще кажется, что все двери перед ним открыты. Его руководитель, германист Рихард Хербертц, обещает ему оплачиваемую преподавательскую должность. Беньямин медлит, одновременно ссорится с отцом, лишая себя всех видов на будущую жизнь в недешевой Швейцарии, и вскоре решает стать независимым критиком. А то, что в следующие десять лет он, тем не менее, будет снова и снова ходатайствовать о преподавании в университетах, не в последнюю очередь обусловлено крепнущим пониманием, насколько труден такой путь, если пишешь, живешь – а еще и потребляешь – так, как он, Беньямин. В эти бурные годы это попросту разорительно. И не только по причине его, мягко говоря, неукротимой любви к ресторанам, ночным клубам, казино и публичным домам, но и по причине страсти к собирательству, например, антикварных детских книг, которые он разыскивает и безудержно скупает по всей Европе.

После окончательного разрыва с родительским домом жизнь даже весьма неплохо занятого публициста – а немецкоязычный газетный рынок и, вместе с ним, спрос на литературно-публицистические колонки в двадцатые годы переживают бурный рост – была, поэтому, омрачена постоянными денежными заботами. И всякий раз, когда становится совсем уж

²⁰ Простую жизнь (*англ.*).

скверно, Бенъямин поглядывает на университет. В конце концов, академическая должность обеспечила бы молодой, много разъезжающей семье наряду с финансовой обеспеченностью еще и экзистенциальную опору, а стало быть, именно те две вещи, о которых этот глубоко противоречивый мыслитель мечтал и которых одновременно боялся.

Лучше провал

Катастрофический и ныне легендарный поворот в академических амбициях Бенямина произошел в 1925 году, когда он потерпел неудачу с защитой диссертации во Франкфуртском университете. По рекомендации своего единственного тамошнего покровителя, социолога Готфрида Заломон-Делатура (впоследствии – одного из главных организаторов давосских семинаров) Бенямин подал работу под названием «Происхождение немецкой барочной драмы». На первый взгляд, она стремилась включить традицию барочной драмы в канон немецкой литературы. Ныне этот труд, и в первую очередь его «Эпистемологическое предисловие», – общепризнанная веха философии и литературной теории XX века. Но в ту пору дело не дошло даже до официального начала процедуры, ведь назначенные факультетом и совершенно задавленные подлинной мощностью работы рецензенты уже после первого просмотра настоятельно просили автора добровольно отказаться от защиты. Иначе его ждет неизбежный провал перед экзаменационной комиссией.

Однако даже после этого очевидного унижения Бенямин не может полностью забыть об университете. И уже зимой 1927–1928 годов при посредничестве своего друга и покровителя писателя Гуго фон Гофманстала пытается войти в гамбургский кружок так называемой школы Варбурга, сложившийся вокруг Эрвина Панофского и Эрнста Кассирера. В результате и здесь – полное фиаско. Отзыв Панофского настолько отрицателен, что Бенямин вынужден извиниться перед своим ходатаем Гофмансталем за то, что вообще втянул его в это дело. Нельзя не предположить, что об этой попытке сближения был осведомлен и Эрнст Кассирер. Для Бенямина это особенно горько, ведь в ранние годы учебы в Берлине (1912–1913) он увлеченно слушал лекции тогдашнего приват-доцента. Кружки тесны, ходатаи значат в них всё, но Бенямин, по общему мнению, – случай безнадежный: подход у него чересчур самобытный, стиль нетрадиционный: в работах для заработка – чересчур литературный, а в теории – настолько оригинальный, что порой не поддается расшифровке.

В самом деле, бальный давосский зал – и от Бенямина как корреспондента это наверняка бы не укрылось – был своего рода воплощенной галереей всех его академических позоров, а возглавлял ее глубоко ему ненавистный Мартин Хайдеггер. В 1913–1914 годах оба посещали во Фрайбурге семинар неокантианца Генриха Риккерта (впоследствии – научного руководителя Хайдеггера). С тех пор Бенямин внимательно и весьма завистливо следил за взлетом Хайдеггера. В 1929-м он в очередной раз планирует выпуск иллюстрированного журнала. Его рабочее название: «Кризис и критика». Задачей журнала – так он доверительно сообщает своему новому лучшему другу Бертольту Брехту, намеченному в сооснователи, – будет, ни много ни мало, «разгром Хайдеггера». Но из этого тоже ничего не вышло. Очередная попытка, очередной план, провалившийся в зачатке.

Бенямину тридцать семь лет, и за спиной у него уже десятки провалов. Ведь за минувшее десятилетие он – независимый философ, публицист и критик – был прежде всего неиссякаемым источником масштабных провальных проектов. Это и создание журналов или издательств, и целевые научные работы или монументальные переводческие проекты (полные собрания сочинений Пруста и Бодлера), и серии детективных романов или амбициозные театральные пьесы... Как правило, всё ограничивается широковещательными объявлениями и экспозе. Лишь считанные проекты доходят до стадии наброска или фрагмента. В конце концов, попутно надо зарабатывать деньги, что происходит в первую очередь благодаря рутинной работе – комментариям, колонкам и рецензиям. К весне 1929 года он опубликовал их несколько сотен в различных газетах. Их тематический спектр простирается от иудейской нумерологии и «Ленина как автора писем» до детских игрушек; заметки о ярмарках продовольствия или галантереи следуют за пространными эссе о сюрреализме или замках Луары.

Почему бы и нет? Кто умеет писать, может писать о чем угодно. Особенно если авторский подход заключается в трактовке выбранного предмета как некой монады, сиречь чего-то такого, на примере чего можно показать не меньше, чем совокупное состояние мира настоящего, прошлого и будущего. Именно в этом и состоят подлинный метод и магия Беньямина. Его взгляд на мир глубоко символичен: каждый человек, каждое произведение искусства, каждый самый что ни на есть будничным предмет, предстает перед ним как знак, подлежащий расшифровке. И каждый такой знак чрезвычайно динамично связан со всеми другими знаками. Стало быть, эта ориентированная на истину интерпретация направлена у Беньямина на то, чтобы выявить и продемонстрировать вплетенность данного знака в великую, постоянно изменяющуюся знаковую целостность, в философию.

Нужна ли моей жизни цель?

Кажущийся нелепым разброс тем у Бенямина на самом деле следует особому методу познания. К тому же этот подход набирает силу по мере роста его убежденности, что как раз самые ошибочные, а значит, как правило, обделенные вниманием высказывания, предметы и люди несут печать общественного целого. Именно поэтому в его *Denkbilder* (фигурах мысли, мыслеобразах), и по сей день вызывающих восхищение – например, в «Улице с односторонним движением» (1928) или в «Берлинском детстве на рубеже веков», – одинаково заметны и влияние стихов фланирующего Бодлера, и симпатии к отщепенцам из романов Достоевского – или же, наконец, борьба за воспоминания в духе Пруста. Они свидетельствуют о романтической приверженности ко всему временному и запутанному, а равно и к эзотерическим техникам толкования иудейской каббалы. Всё это местами подкрашено, на выбор, марксистским материализмом или идеализмом натурфилософии Фихте и Шеллинга. Тексты Бенямина демонстрируют рождение нового способа познания из духа типичной для его эпохи идеологической дезориентации. Так, в начале его автобиографической книги «Берлинское детство на рубеже веков» мы читаем как бы шутивное введение в его метод:

Не найти дорогу в городе – невеликая премудрость. А вот заблудиться в городе, как в лесу, – тут требуется выучка. В названиях улиц ему, заплутавшему, надо уметь расслышать нечто важное, как в треске сухих ветвей в лесу, а узкие улочки городского центра должны казаться разными в зависимости от времени дня или ночи, подобно тому, как по-разному предстают нам в разные часы горные ущелья. Я овладел этим искусством поздно, в школе, где оно всецело занимало мои мечты, оставившие свои свидетельства – лабиринты на промокашках в моих тетрадях...²¹

Как раз в хронической незавершенности, предельном разнообразии и насыщенной реальностью противоречивости своего письма он видит единственный возможный путь к истинному познанию мира, а значит – и самого себя. Как изысканно сказано в «Эпистемологическом предисловии» к «Происхождению немецкой барочной драмы»: для философствующего речь всегда должна идти о том, чтобы «из далеких крайностей, мнимых эксцессов развития» выявить «конфигурацию идеи как целостности, отмеченной возможностью продуктивного сосуществования подобных противоположностей». Однако такое представление идеи, по Бенямину, «ни при каких условиях не может считаться успешным, покуда не удалось виртуально очертить круг возможных в ней крайностей»²².

Совершенно очевидно, это много больше, чем просто самобытная теория познания. Это также проект экзистенции, который напрямую превращает кантовский изначальный вопрос «Что такое человек?» в вопрос «Как мне следует жить?». Ведь, с точки зрения Бенямина, то, что справедливо для философского искусства представления идеи, одинаково справедливо и для искусства жить. Свободный, жаждущий познания человек должен всеми своими фибрами «стремиться к далеким крайностям» и не может «считать себя успешным» в своем существовании, если не очертил или хотя бы не испробовал пределы всех возможностей.

²¹ GS. Bd. IV-1. S. 237. См.: *Бенямин В.* Берлинское детство на рубеже веков / пер. Г. Снежинской; науч. ред. А. Белобратов. М.: Ад Маргинем; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2012. С. 27.

²² GS. Bd. I-1. S. 227. *Бенямин В.* Происхождение немецкой барочной драмы / пер. с С. Ромашко. М.: Аграф, 2002. С. 29.



Вальтер Беньямин. 1925

Путь познания Беньямина вкупе с его проектом экзистенции образует, стало быть, еще одну крайность того же типичного для эпохи напряженного отношения, какое в двадцатые годы творчески движет Витгенштейном, Кассирером и Хайдеггером. Вместо идеала логически проясненного мироздания его метод делает ставку на исследование противоречивой одновременности. Там, где Кассирер на основе научно трактуемого понятия символа стремится к единству полифоничной системы, у Беньямина проявляется воля к богатым контрастам, постоянно

динамически изменяющимся конstellациям познания. А на место хайдеггеровского страха смерти он ставит идеал хмельного порыва и эксцесса как момент истинного чувствования. И подкрашивает всё это религиозно заряженной философией истории, которая, будучи открытой возможности искупления, сама не может ни осуществить этот спасительный момент в вульгарно-марксистском смысле, ни даже предсказать его.

Республика в одном лице

Вот так, устремленный к гармонии мысли и действия, Беньямин проживает двадцатые годы, духовно и физически постоянно перемещаясь вдоль оси Париж – Берлин – Москва, на грани депрессии, в ожидании полного срыва. Причем его упрямое стремление к саморазрушению – проститутки, казино, наркотики – в ходе считанных месяцев, а то и дней перемежается фазами гигантской продуктивности и вспышками гениальности. Подобно Веймарской республике, Беньямин не ищет равновесия середины. Для него искомая истина, и не в последнюю очередь – его собственная, неизменно лежит в изобилующих напряжением периферийных областях бытия и мышления.

В этом смысле весна 1929 года – образец обстоятельств, определявших жизнь Беньямина последние десять лет²³. Всё как всегда, лишь чуточку больше. Он разрывается между по меньшей мере двумя женщинами (Дорой и Асей), двумя городами (Берлином и Москвой), двумя призваниями (журналистикой и философией), двумя лучшими друзьями (иудаистом Гершомом Шолемом и коммунистом Бертольтом Брехтом), двумя масштабными проектами (созданием журнала и началом новой работы, ставшей позже известной под именем «Пассажей»), а также множеством еще не отработанных авансов. Если есть интеллеktуал, в чьей биографической ситуации образцово отражаются напряжения эпохи, то это Вальтер Беньямин весной 1929 года. Он – Веймар в одном лице. А стало быть, добра не жди. Так и вышло. В конце концов, речь идет о человеке, который, по собственным его словам, был не в состоянии даже «заварить себе чашку чая» (вину за это он, разумеется, взваливал на мать).

Решение Беньямина оклеветать и бросить единственного человека, на которого он по-прежнему мог безусловно положиться, знаменует крутой поворот в его биографии. И насколько же яснее, чем сам философ, видит ситуацию упомянутый единственный человек. В огромной тревоге Дора Беньямин в мае 1929 года обращается с письмом к общему другу семьи Гершому (Герхарду) Шолему:

С Вальтером очень плохо, дорогой Герхард, больше сказать не могу, так щемит сердце. Он полностью под влиянием Аси и совершает поступки, которые перо отказывается описать и которые более не позволяют мне в этой жизни вновь сказать ему хоть слово. Он состоит теперь лишь из головы и гениталий, и ты знаешь или можешь себе представить, что в таких случаях голова очень скоро отказывает. Эта огромная опасность существовала всегда, и кто знает, что будет <...> Поскольку первоначальные переговоры о разводе потерпели неудачу оттого, что он не желает ни вернуть деньги, одолженные из своего наследства (120 000 марок, мама тяжело больна), ни хоть что-то выплачивать за Штефана, Вальтер подал на меня жалобу из-за моего долга <...> Я отдала ему все книги, а на другой день он потребовал и коллекцию детских книг; зимой он месяцами бесплатно жил у меня <...> На протяжении восьми лет мы предоставляли друг другу полную свободу <...> а теперь он подает на меня иск; теперь вдруг презренные немецкие законы вполне его устраивают²⁴.

Дора знает, с кем имеет дело. Всего через пять месяцев, поздней осенью 1929 года – почти одновременно с «черной пятницей», обвалом биржи на нью-йоркской Уолл-стрит, – у Беньямина случается нервный срыв. Не способный ни читать, ни говорить, ни тем более писать,

²³ Подробное описание этого этапа жизни см.: Eiland, H., Jennings, W. (2014). S. 314ff. См.: *Айленд Х., Дженингс М. У. Вальтер Беньямин: критическая жизнь* / пер. Н. Эйдельмана под науч. ред. В. Анашвили и И. Чубарова. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. С.???

²⁴ Цит. по: Puttnies, H., Smith, G. (Hrsg.) (1991). S. 145ff.

он уезжает в санаторий. С большим треском человечество перешагнуло порог новой эпохи – настолько мрачной и смертоносной, что подобную не мог представить себе даже Вальтер Беньямин.

II. Прыжки. 1919

Доктор Беньямин бежит от отца, лейтенант Витгенштейн совершает финансовое самоубийство, приват-доцент Хайдеггер порывает с верой, а мсье Кассирер работает в трамвае над своим озарением

Что делать?

«Если, с одной стороны, досконально известен характер человека, иными словами – то, как он реагирует на мир, с другой же – известно всё о ходе событий в тех сферах, в которых мир воздействует на характер, то можно с точностью сказать, что произойдет с таким характером и на какие поступки он сам окажется способен. Стало быть, судьба его заведомо известна»²⁵. Верно ли это? В самом ли деле форма биографии обусловлена, детерминирована, предсказуема таким вот образом? А значит, и собственная биография? Как много свободы действий достается человеку, чтобы сформировать собственную жизнь? С этими вопросами двадцатисемилетний Вальтер Беньямин в сентябре 1919 года садится за эссе под названием «Судьба и характер». Как позволяет предположить уже первая фраза текста, его тогдашнее стремление погадать себе на картах типично для всего поколения молодых европейских интеллектуалов, перед которым стоит требование по окончании великой войны заново пересмотреть основы собственной культуры и существования. Писательство как способ самопросветления.

В первое послевоенное лето Беньямин и по чисто личным причинам находится в порочной ситуации. Важные переходы к так называемой взрослой жизни уже позади. Он женился (1917), стал отцом (1918), а в конце июня 1919-го защитил докторскую диссертацию по философии. Что до Первой мировой войны, то ему удалось остаться довольно далеко от ужасов мирового пожара. От первого призыва в 1915 году Беньямин увильнул, так как ночью накануне медосмотра вместе со своим лучшим другом Герхардом Шолемом не сомкнул глаз и выпил несметное количество чашек кофе, отчего утром его пульс приобрел неравномерность, достаточную, чтобы его можно было счесть непригодным к военной службе. Популярная в ту пору уловка. Куда изобретательнее и изощреннее был второй его маневр по уходу от призыва в 1916-м. Ведь за время многонедельного курса гипноза, организованного его будущей женой Дорой (в итоге – необычайно успешного!), Беньямину внушили, что он страдает тяжелым ишиасом. По заключению военно-медицинской комиссии, симптомы не оставляли сомнений. В конечном итоге комиссия не избавила Беньямина от фронтовой службы, но, по крайней мере, выдала ему официальное разрешение провести обследование на предмет сего сложного недуга в специализированной швейцарской клинике. Оказавшись в Швейцарии, он мог впредь не опасаться принудительного призыва, если останется там, а именно так Дора и Вальтер решили осенью 1917 года.

²⁵ GS. Vd. II-1. S. 171. См.: *Беньямин В. Судьба и характер* / пер. А. Глазовой // Беньямин В. Судьба и характер. СПб.: Азбука-Классика, 2019. С. 5.

Его прибежище

Вначале они живут в Цюрихе, который в годы войны становится своего рода сборным резервуаром для молодой немецкой, да и вообще европейской интеллигенции. Именно здесь Хуго Балль и Тристан Тцара в 1916 году провозглашают дадаизм. Всего в нескольких метрах от кабаре «Вальтер» проживает некий Владимир Ильич Ульянов (более известный как Ленин), планирующий русскую революцию. Не находя да и не ища близкого контакта с этими кругами, новобранцы – в сопровождении общего друга Шолема – вскоре переезжают в Центральную Швейцарию, в Берн, где Вальтер, с целью защиты диссертации по философии, записывается в университет.

Оба, а точнее, все трое берлинских эмигрантов живут по большей части изолированно от культурной жизни города, по сей день знаменитого своей медлительностью. Отношение Бенямина и Шолема к уровню местного преподавания отмечено пренебрежением. Ощущая заниженность требований, они не только придумывают воображаемый университет под названием «Мури»²⁶, но и набрасывают планы таких нелепых лекционных курсов, как «Пасхальное яйцо. Преимущества и опасности» (теология), «Теория и практика оскорбления» (юриспруденция) или «Теория свободного падения с прилагаемыми упражнениями» (философия)²⁷. Время в Берне они используют и для совместных частных штудий – например, для чтения произведений неокантианца Германа Когена, которые друзья во время своих долгих ночных бдений изучают фраза за фразой²⁸.

Эта жизненная ситуация с ее основополагающей неопределенностью и, что важно, эротической двусмысленностью отлично отвечала характеру Бенямина. Самое позднее – с рождением сына Штефана в апреле 1918 года, его продуктивность невероятно возрастает, и меньше чем за год он завершает диссертацию. Уже забрезживший конец войны требует более определенной профессиональной ориентации на послевоенное время. Да и отец Бенямина, чье имущественное положение за годы войны весьма ухудшилось, настаивает, чтобы сын наконец начал самостоятельную жизнь.

²⁶ Мури – название швейцарской деревни, где Бенямины и Г. Шолем жили в описываемый автором период времени.

²⁷ См.: Lubrich, O. (2016). S. 29.

²⁸ Ср.: Eiland, H., Jennings, W. (2014). S. 102. См.: Айленд Х., Дженнингс М. У. Вальтер Бенямин: критическая жизнь. С. 115.

Критические дни

Летом 1919 года, когда молодая семья едет отдыхать в пансион на Бриенцком озере, позади у нее месяцы, полные интенсивного труда. «Мы с Дорой совершенно выбились из сил», – пишет Беньямин Шолему 8 июля 1919-го; не в последнюю очередь это связано с состоянием здоровья малыша Штефана, который уже несколько месяцев «постоянно температурит», так что «нет никакого покоя»²⁹. В особенности Дора страдает от «тяжелейшего многомесячного напряжения», результат которого – «малокровие и сильная потеря веса». Тем временем сам Беньямин всё еще пытается побороть весьма болезненные последствия гипнотически приобретенного ишиаса, а кроме того, как он пишет другу семьи, «последние шесть месяцев страдает от всякого шума». Сейчас бы сказали: близок к истощению душевных и физических сил.

Словом, летний отдых в пансионе с красивым названием «Monrepos» («Отдохновение») семейству крайне необходим. Вид на озеро, полный пансион и специально нанятая няня для ребенка. Да, финансовое положение, возможно, непростое, но, откровенно говоря, не безнадежное. Ведь они намеревались там хорошо питаться, побольше спать, немного читать, а Вальтер, глядишь, – и перевести на немецкий что-нибудь из поэзии любимого Бодлера. Всё могло бы быть замечательно.

Однако, как обыкновенно случалось с планами Беньямина, ничего не вышло. Причем по вине самого Вальтера. Дело в том, что он счел за благо пока не сообщать семье в Берлин об успешно выдержанном докторском экзамене – ведь иначе отец может отказать в финансовой поддержке.

Но Беньямин-старший не очень-то доверяет отпрыску и потому решает вместе с супругой нагрянуть в Швейцарию. Приезд родителей в курортное местечко датируется точно – 31 июля 1919 года.

Тот, кому известны характеры участников, а также конкретные обстоятельства, в которых они встретились, вовсе не нуждается в формуле всеобщего мирового устройства, чтобы предсказать ход встречи отца и сына. Четырнадцатого августа 1919-го Беньямин пишет Шолему о «скверных днях, которые теперь уже позади», а дальше смущенно добавляет: «Разрешается объявить о моей докторской степени».

Итак, теперь отец обо всем знает и предъявляет ультиматум: в эти более чем ненадежные времена сын должен подыскать себе постоянную, а главное – оплачиваемую работу. Нелегкая задача для Беньямина, ведь на вопрос, что он намерен делать со своей жизнью, он, по правде говоря, может ответить лишь одно: «Стать критиком, папенька. Я хочу стать критиком».

Как раз тому, что конкретно должно означать и охватывать это самописание, он и посвятил свою диссертацию. Трехсотстраничный труд под названием «Понятие художественной критики в немецком романтизме»³⁰. В первые августовские дни 1919 года Вальтеру Беньямину было очень нелегко растолковать своему совсем не искушенному в философии, а вдобавок хронически депрессивному отцу-коммерсанту, в чем суть этого понятия критики, что оно могло означать для собственной культуры и для собственного «я». И, самое главное, достойное ли это вообще занятие.

Но хотя бы раз стоило попытаться. К тому же, за чопорным названием академической работы таилась сугубо самобытная задача, идея поставить основополагающую открытость становления собственного «я», а равно и культуры как таковой, на новый теоретический фундамент. Основную деятельность, которая обеспечивает такую открытость и ориентирует на вечно новое, Беньямин в своей диссертации называет просто – *критика*. Он убежден, что в следую-

²⁹ GB. Bd. II. S. 29.

³⁰ GB. Bd. II. S. 7–122.

щих за Кантом трудах Фихте, Новалиса и Шеллинга заложена мысль о специфической форме духовной деятельности, истинная значимость которой для собственной жизни и собственной культуры до сих пор оставалась нераскрытой.

Романтические тезисы

Решающий импульс этих раннеромантических философов заключается для Бенямина в том, что деятельность критики – коль скоро таковая трактуется правильно – не оставляет неизменными в своей сущности ни критикующий субъект (то есть художественного критика), ни критикуемый объект (то есть произведение искусства). В процессе критики оба они подвергаются трансформации, причем в идеальном случае – в сторону истины. Этот тезис о постоянном сущностном обогащении произведения искусства деятельностью критика основан, согласно Бенямину, на двух основополагающих положениях немецкого романтизма. Они гласят:

1. Всё, что существует, имеет динамическое отношение не только к другим вещам, но и к самому себе (тезис о самоотнесенности всех вещей).
2. Если субъект критикует объект, он тем самым активизирует и мобилизует в каждом из двух этих взаимодействующих единств их взаимосвязь – как с другими вещами, так и с самими собой (тезис об активации всех соотносительностей через критику).

Из этих тезисов Бенямин делает в своей диссертации выводы, которые революционным образом переворачивают сначала его представление о себе как о критике, а затем и самопонимание художественной критики XX-XXI веков. Прежде всего, это относится к тезису, что функция критики состоит *«не [в] оценке, а, во-первых, в совершенствовании, дополнении, систематизации»*³¹. Таким образом, во-вторых, самому художественному критику подобает впредь статус соавтора художественного произведения. В-третьих, такое понимание критики означает, что произведение искусства, по сути, никогда не бывает стабильно, но в ходе истории его бытие и возможное значение меняются и набирают динамизм. В-четвертых, наконец, любая критика произведения искусства – таково следствие тезиса о самоотнесенности всех вещей – должна рассматриваться и как критика произведением самого себя.

Стало быть, критик и художник, понимаемые правильно, стоят на одной творческой ступени. Сущность произведения не неподвижна, но постоянно меняется. И на самом деле именно художественные произведения постоянно критикуют сами себя.

Пожалуй, можно представить себе, какую степень смутения и непонимания тезисы Бенямина должны были вызывать у человека вроде его отца.

³¹ GB. Bd. II. S. 78.

Новое самосознание

Фактически, убедительность проекта Беньямина зависит от того, в какой мере убедительными человек считает оба основополагающих романтических положения об универсальной авто- и гетерореферентности всех вещей. Однако, сколь ни странны эти тезисы на первый взгляд, они, пожалуй, имеют основания. Во всяком случае, Вальтер Беньямин мог бы указать отцу на исконно человеческий феномен, настолько бесспорный и конкретно постижимый, что он, собственно, не допускает никаких разумных сомнений, – а именно, на данность человеческого самосознания. В конце концов, каждый человек обладает особенной, чудесной способностью. А заключается она в том, что он может соотносить собственную мысль с другими собственными мыслями. Мы все, каждый по отдельности, можем «думать по-своему». То есть каждый из нас располагает самобытным опытом процесса познания, в ходе которого как критикуемый объект (обдумываемое мышление), так и критикующий субъект (обдумывающее мышление) не только претерпевают изменение, но фактически осознают свое единство. Для романтиков именно это базовое рефлексивное отношение самосознания есть яркий пример любой формы критической соотнесенности с объектом. Иными словами, обобщающий яркий пример того, что происходит, когда *«познание одной сущности через другую [совпадает] с самопознанием познаваемого»*³².

На самом деле, мог бы объяснить отцу Беньямин, это чудо изменяющейся самосоотнесенности происходит непрерывно. Но особенно зримым и действенным образом – тогда, когда человек размышляет об основах своих отношений с собой и с миром. Великие произведения искусства суть не что иное, на самом деле, как воплощенные результаты такого процесса рефлексии. А значит, это произведения, в своих помысленных соотнесенностях необычайно богатые, многообразные, побуждающие, оригинальные и тем самым стимулирующие познание:

Критика – это как бы эксперимент над художественным произведением, благодаря которому пробуждаются его рефлексии, благодаря которому оно подводится к сознанию и познанию самого себя. <...> В той мере, в какой критика есть познание художественного произведения, она есть его самопознание; в той мере, в какой она его оценивает, это происходит и в его самооценке³³.

Здесь для Беньямина заключено философское зерно понятия художественной критики в романтизме, хотя сами романтики не сумели осознать это достаточно ясно. Потребовалась проясняющая временная дистанция (добрых сто пятьдесят лет), а также четкая интерпретация. Иными словами – критика. Именно ей Беньямин и хотел посвятить остаток своей жизни. Ведь она также сделает что-то и с ним, и в нем самом, в этом вечно становящемся «произведении», каковым он признал себя. На самом деле, каждый человек, который может думать по-своему, – без исключения каждый – есть такое собственное произведение. Каждый человек может упражняться в критическом испытании и познании себя. Каждый человек может, в известной мере, критически сопровождать и формировать собственное становление. Каждый человек может стать тем, каков он доподлинно есть. Можно называть это критикой. Или же – просто философствованием.

³² GB. Bd. II. S. 58.

³³ GB. Bd. II. S. 65f.

Бегство

Так – или примерно так – Беньямин мог бы за те две недели на Бриенцском озере разъяснить отцу представление о своей будущей стезе независимого критика. Вероятно, он и разъяснял. Только вот убедить родителя, как и ожидалось, не сумел. Прежде всего – потому, что подлинно критический вопрос так и остался без ответа. Кто и каким образом предоставит средства на финансирование подобного образа жизни? Как исполнить собственное назначение, не подчинившись своей – например, намеченной родителями – «судьбе»? Что делать?

Соответственно своему характеру, Беньямин сначала поступает так, как поступал раньше, и будет поступать всегда, когда решения не предвидится, – поспешно уезжает, снова меняет место жительства и бросается разом в несколько новых масштабных проектов.

Осенью дорога ведет через Клостерс и Лугано в австрийский Брайтенштайн, где молодая семья, на исходе сил и ресурсов, наконец находит прибежище в доме отдыха, которым управляет австрийская тетушка Доры. «Мы тут совершенно без гроша», – сообщает Беньямин Шолему 16 ноября 1919 года. Однако есть и хорошие вести из Берна, от руководителя диссертации:

Хербертц принял меня самым любезным образом и обнадежил насчет защиты диссертации и даже внештатного преподавательского места. Родители мои, конечно, очень рады и ничуть не возражают против тамошней моей защиты, однако финансовых обязательств пока на себя не берут³⁴.

Итак, еще не всё потеряно. Лишь злополучный денежный вопрос по-прежнему ждет решения. В эти недели и месяцы та же проблема весьма занимает и Витгенштейна – хотя совершенно иным образом.

³⁴ GB. Bd. II. S. 51.

Превращение

Сознает ли он, в самом деле, масштаб своего решения? Говорил ли об этом с сестрами и братом? Не хочет ли все-таки еще раз всё обдумать? Нет, не хочет. «Итак, – вздохнул семейный нотариус, – Вы решили совершить финансовое самоубийство!»³⁵ В самом деле, Витгенштейн непоколебим. Он не медлит, нет, теперь он – всё еще в белом мундире лейтенанта – в свой черед несколько раз тщательно проверяет, вправду ли не имеется никакой лазейки, никакой оговорки, никакого пути к отступлению, вправду ли, поставив свою подпись, он раз и навсегда, абсолютно безвозвратно, избавится от всего своего состояния. Финансовое самоубийство, прекрасно сказано.

В Вене Витгенштейн находится пока меньше недели. Одним из последних офицеров он вернулся на родину из итальянского плена. Сейчас, 31 августа 1919 года, он сидит в солидной венской конторе и отписывает всё свое состояние, по нынешним меркам – сотни миллионов евро, старшим сестрам и брату: Гермине, Хелене и Паулю. Вена, некогда гордая имперская метрополия, теперь всего-навсего столица маленькой бедной альпийской республики, находящейся этим первым послевоенным летом на пути в полный хаос. Большая часть австрийского населения перед лицом катастрофы высказалась за присоединение к Германии, которая тоже готова развалиться. Державы-победительницы, однако, этого не хотят. Девяносто шесть процентов австрийских детей страдают этим летом от недоедания. Инфляция мгновенно взвинчивает цены на продукты питания. Валюта в состоянии свободного падения, а с нею – и нравы в городе. Прежние иерархии габсбургской империи полностью рухнули, новые учреждения толком не функционируют. Всё не так, как прежде. Да и тридцатилетний уже Людвиг Витгенштейн за годы войны стал другим человеком.

Надежда на фундаментальное изменение своей жизни – вот что летом 1914 года, через считанные дни после начала войны, подвигло Витгенштейна добровольно записаться в армию ефрейтором. Он – представитель высшего венского общества, отпрыск одного из крупнейших в Европе семейств промышленников, студент Кембриджа, уже тогда признанный философским талантом столетия, от которого его покровители Бертран Рассел и Готлоб Фреге ожидали, ни много ни мало, «следующего большого шага». В общем, война вполне оправдала личные надежды Витгенштейна: он доказал свою храбрость. На фронтах в Галиции, России и Италии не раз смотрел смерти в глаза, стрелял, чтобы убивать. Обратился – прочитав небольшую книжку Льва Толстого – к христианской вере и, наконец, долгими зимними ночами во фронтовых окопах завершил свою философскую книгу – работу, которой суждено стать, в чем он сам несколько не сомневался, не просто следующим большим шагом в философии, но ее окончательным завершением.

Однако что было достигнуто на самом деле? В сущности, ничего. По крайней мере – для него, ежедневно терзаемого чувством бессмысленности. Как он и написал в предисловии к «Логико-философскому трактату», когда летом 1918 года в отпуске с фронта наводил на него последний лоск:

Посему я уверен, что отыскал, в существенных отношениях, окончательное решение поставленных проблем. И если в этом я не ошибаюсь, то второй факт, обеспечивающий ценность данной книге, таков: она показывает, сколь малого мы достигаем, разрешив эти проблемы.

Иными словами: обо всем, что подлинно делает возможной человеческую жизнь, обеспечивает ей смысл, ценность и ежедневную надежду, философия говорить и судить не вправе. Но

³⁵ Цит. по: Monk, R. (1991). S. 171. См.: *Монк Р.* Людвиг Витгенштейн. Долг гения. С. 185 (с изм.).

почему такое вообще, в принципе, ей не под силу, почему никакой логический вывод, никакой аргумент и никакая прочная теория смысла даже не затрагивает подлинных вопросов жизни, – как раз это Витгенштейн, по его разумению, раз и навсегда показал своей книгой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.